

Е. Н. БЕРКОВСКАЯ (СЕТНИЦКАЯ)

«Судьбы скрещенья»

Из «Воспоминаний»

<...> 11 апреля [1937] в Пушкино к нам приехал Александр Константинович Горский, Пунин¹ ближайший друг и единомышленник. Родители познакомились с ним еще в Одессе, и через него, очевидно, Пуна пришел к Федорову. И Пуна, и мама, и Оля² очень любили его и страшно обрадовались его возвращению. Он <...> в 1929 году был арестован, сидел в тюрьмах и много лет провел на Беломорканале. Теперь [вернулся], получив за хорошую работу «по зачетам» сокращение срока года, верно, на полтора. Тогда, в тридцатые годы, еще бытовал такой либерализм, и он возвращался на «свободное житье». У него, конечно, были «минусы», т. е. он не имел права жить в больших городах, не говоря уж о Москве. Для жителя была выбрана Калуга: и близко к Москве, и там жил Циолковский, которого Александр Константинович считал как человека и ученого, близкого своим «космизмом» идеям Федорова.

Приезд Александра Константиновича обрадовал и взбодрил Пуна и до некоторой степени вывел из тяжелой мрачности, в которой он все время находился после нашего возвращения из Харбина.

<...> Рада была Александру Константиновичу и мама. Для Оли же, очень любившей его с самого детства, его приезд во многом определил ее дальнейшую жизнь. <...>

Я затрудняюсь сказать, когда Пуна впервые пытался приобщить Олю к мысли о федоровском «общем деле». Наверное, лет в пятнадцать. И тогда это произвело на нее сильное впечатление. Сильное, но не решающее. Бессмертие — да, конечно, воскрешение — превосходно, но *как?* И юный возраст, и действительно трудно отвечаемое «как?» не выдвинуло тогда идеи Федорова для Оли на первый план. Федоров присутствовал и в мучительных разговорах Пуны с Олей в Пушкино и вопрос «как?» оставался первостепенным. Приезд Александра Константиновича стал для

Оли решающим. Она очень любила его еще маленькой девочкой, звала его «ты» и «Горноста́й», и встреча с ним в такое тяжелое для нее время была величайшей радостью и утешением. Не знаю как, знаю только, что с быстротой необыкновенной он ответил на все Олины недоумения, попросту снял вопрос «как?» и вывел ее на путь, по которому она и пошла.

Думаю, что Александр же Константинович и увлек Олю тогда идеей поступления в университет на истфак, примирив ее тем самым с Пуной. Истфак — это было вполне федоровское дело. Идея «музея», «архива», собирания материалов о прошедшем в целях сохранения для будущего — это было хорошо.

От появления на нашем горизонте Горского воспрянул духом и сам Пуна. За эти весенние и летние месяцы они написали с Александром Константиновичем вместе работу на тему о задачах биологической науки, способствующих достижению бессмертия как конечного результата, о достижениях, в частности, советской науки, рассматриваемых в этом ракурсе³.

Но этот эфемерный подъем был так краток. 1 сентября Оля первый раз пошла в университет и даже не успела рассказать об этом Пуне, так как в эту ночь его арестовали. 4 декабря арестовали маму, а меня забрали в детский распределитель. <...> Тут Оля проявила и энергию, и быстроту, и настойчивость. Она сумела узнать, где я нахожусь, уговорить тетку Антонину усыновить меня и вызвать меня таким образом из этого обреченного места.

Жить у Антонины мне было нелегко, Оля понимала это, и в первых числах января я уехала в Ахтырку к маме и сестре Наде, бабушке Ольге Васильевне и милой, любимой Марии Павловне. Но не обо мне речь. Я уехала, Оля осталась одна. Было ей 21 год. «Совсем взрослая», — думала я, думала и она.

В эти дни она пометила в своем дневнике: «5 января. Первый день совсем одна». Сколько раз она писала в дневнике, просила родителей, говорила мне и думала о том, как бы ей хотелось, как бы ей было нужно, необходимо жить одной... И вот дождалась, наконец, одна... Только вот как и почему одна? <...>

Была очень тяжелая повседневная жизнь. Топка печей сырыми дровами, ношение воды из колодца, ежедневные поездки на электричке из Пушкина.

Но вот тут-то и спасал ее Александр Константинович. Он ей был и отцом, и другом, и учителем, и пастырем. Благодаря ему, и конечно, дружбе с Катей⁴, которая появилась на Олином горизонте во втором семестре первого курса, — эти годы были для нее едва ли не лучшими в жизни и уж во всяком [случае] ослепительные снега горных вершин видела Оля именно в эти три с половиной года.

Выражаясь высоким штилем, без преувеличения можно сказать, что с этих пор жизнь Оли приобрела характер «службе-

ния», которому она осталась верна, хоть и не без срывов, блужданий и некоторых перерывов, всю жизнь.

Александр Константинович был по натуре человеком активным. Я бы даже сказала, что он был пламенным агитатором и проводником идей Н. Ф. Федорова в мир. Он писал большие работы, имеющие в виду известное претворение идей Федорова в жизнь. Да да в жизнь, именно в жизнь, в то самое страшное время, о котором теперь говорят не без страха и с содроганием. Александр Константинович и Пуна считали и надеялись, что наше централизованное государство сможет и должно употребить свои силы на поощрение работ в области биологии, медицины и химии, направленных на продление человеческой жизни, борьбу со старостью, регуляцию природы. Пуна и Александр Константинович и потом он один, считали и говорили, что люди должны научиться овладеть своими разнообразными духовными возможностями. Что истинная любовь, преобразующая человека, есть один из начальных путей к бессмертию. Что очень многие мыслители и писатели, в случае доведения до логического конца их мыслей, близки идеям Федорова и т. д., и т. д. Все это следовало доводить до сознания и до сведения людей. Поэтому писались письма, например, Вернадскому, поскольку его идею ноосферы в самом деле можно соотнести с некоторыми положениями Федорова; не только Вернадскому, но и ученым — С. С. Брюхоненко, занимавшемуся опытами по пересадке сердца животным, и одиозному философу Александрову⁵ (Не могу сообщить теперь, почему ему? Может быть, чтоб доказать, что философия марксизма не противоречит философии общего дела?) и американскому писателю П. де Крайфу (Полю де Крюи, как говорили в то время) — автору знаменитой тогда книжки «Охотники за микробами»⁶, и критику Бялику, и даже молодой тогда Т. Л. Мотылевой⁷, очевидно, потому что она занималась Гете, «Фаустом», а «эта штука посильнее, чем “Фауст” Гете», как сказал великий учитель и друг всех народов о сказке Горького «Девушка и смерть». Писали... и самому Сталину⁸. Не знаю, правда, отправили ли? Страшно подумать!

Помимо эпистолярной формы убеждения существовали и личные контакты: беседы и убеждения различных людей: от старика-шлессельбуржца Николая Морозова, Пришвина или Эренбурга⁹ до студентов-истфаковцев, положительно реагировавших на идеи Федорова, главным образом по причине безответной влюбленности в Катю. Особые надежды возлагались на Пастернака. Всегда, когда я вспоминаю об этом времени, об их глубокой и истовой убежденности и этой фантазмагорической деятельности, я изумленно думаю, как могли уцелеть, как всех не пересадили?! Конечно, впервых, не случилось провокаторов среди нас, а когда он все-таки позже случился¹⁰, то нам, молодым, помог случай, такой Deus ex

machina, а в общем-то Бог спас. Александру Константиновичу Бог не помог.

Александр Константинович, Оля и Катя жили в каком-то своем ослепительном мире, мире со своими делами и чувствами, со своим языком, со своим «духовным бытом», если можно так сказать, мире таком далеком от повседневности, мире, пронизанном таким невероятным духовным накалом.

Как ясно я помню их, Олю и Катю, в тот предвоенный год. Какие они были счастливые, какие у них были восторженные, освещенные изнутри лица! И высокий Александр Константинович между ними. Худой, со лбом в испарине (от слабости? от нездоровых легких? не знаю). Полный мыслей, идей, планов — безумных планов. Стоит, отведя немного вперед опущенные руки, сжатые в кулаки, и что-то говорит им, улыбаясь. А они смеются от счастья. Они уже там, в своем мире, бессмертном... И я, семнадцатилетний скептик, хоть и раздражаюсь, а про себя думаю невольно: а может быть? а вдруг, а если? А вдруг и правда воскреснут? И дедушки наши, которых я не знаю, и бабушка Ольга Васильевна, и Толстой, и Микеланджело, и Эпаминонд¹¹ (я так любила Эпаминонда!) и, о, Господи... Пушкин?! Воздух воскрешения окутывал их и мне слышался треск ломающихся гробов, и сонмы людей вставали из земли и «пролетают сквозною струей мертвецов, мертвецов, мертвецов воскрешающий радостный рой»¹².

На таком душевном взлете находиться всегда было трудно. Нет, не трудно — невозможно! Оля и не находилась. Подъемы сменялись упадками. У Оли наступали периоды глубочайшего уныния, тоски, неверия в свои силы, периоды всепоглощающего недовольства собой, раздражительности. Ученье в университете уже не всегда вдохновляло. <...>

Училась Оля прилично, усилий много не тратила. После каялась, говорила, что училась мало и плохо. Не знаю, ей виднее. Иногда они с Катей ездили в Калугу. Это всегда был праздник. Александр Константинович наполнял Олину ослабевающую душу новым бессмертным зарядом. Мэри, жена его, очень любила и Олю и Катю. Наезжал в Москву и Александр Константинович. Вот тогда-то и шла работа.

В эти годы Оля стала стремиться прийти к Богу. И Александр Константинович, и Катя были верующими людьми. Не знаю, был ли у Оли это истинный внутренний порыв или решение от ума, или просто жажда веры? Знаю только, что к моему приезду из Ахтырки Оля ходила иногда в церковь и в существовании Бога не сомневалась. Чем меня тогда и изумила. <...>

И вот в эту-то жизнь приехала летом 1940 года я. Приехала я, конечно, не то чтобы как снег на голову, но так некстати, так не ко времени, так ненужно, что встретила меня Оля не всей ду-

шой, а, как говаривала наша мама, «всей спиной». Я приехала из другого мира, такого далекого от Олиной жизни, что, вероятно, ей хотелось выть от одной мысли об этом мире. Вот явилась девчонка, едва семнадцатилетняя, ничего не понимает, дура, провинциалка... да, но, увы, единственная младшая сестра, за которую, она считала, она в ответе.

На Курском вокзале она около часу ждала моего опаздывающего поезда и записывала на двух телеграфных бланках свои мысли по поводу каких-то актуальных тогда вопросов касательно «Общего Дела». (Листки сохранились.) Там и какие-то общие соображения, и доведение до полной ясности для себя некоторых частных проблем, и планы на ближайшие дни. Много чего там было, кроме только предстоящего через час приезда младшей сестры. Но чего не было, того не было.

Наконец поезд пришел, и я вылезла на перрон со своим черным Пуниным чемоданчиком (переданным еще в Харбине из дедушкиного дорожного саквояжа) и школьным портфелем в руках. Последовали сестринские приветствия, прохладность которых меня не удивила, так как сантименты у нас в ходу не были. Сама же Оля и отучила меня навечно от них чуть не в младенчестве. Я стала спрашивать Олю об университете, о ее занятиях, о том, была она или не была на раскопках, и с изумлением услышала равнодушный ответ, что все это никому не интересно и, главное, абсолютно не важно. А на мой вопрос, что же важно, я не без удивления услышала, что важно воскрешать людей и все силы свои надо употребить на приближение и достижение бессмертия и возможности воскрешения. Это было как-то невероятно! О Федорове я кое-что знала к тому времени, знала, что Пуна и Александр Константинович его ученики и последователи, но чтоб Оля вот так, сейчас, завтра... Невероятно! Тут же на привокзальной площади Оля запальчиво и со страстью стала мне объяснять необходимость сиюсекундного обращения всех людей к «Общему Делу». Я слабо возразила, что ведь всех-то людей невозможно приобщить к этому. Особенно я почему-то напирала на то, что фашизм антагонистичен учению Федорова и главным моим аргументом был Гитлер. Почему именно Гитлер? Не знаю. Мой семнадцатилетний лепет рассердил Олю и она, сказавши, что я дура и ничего не понимаю, умолкла.

И пошла моя московская жизнь. Впрочем, речь об Оле. Она, как могла, пыталась как-то помочь мне — с пропиской, с истфаком, с учебой... Но мешала я ей (или им с Катей) ужасно. А еще Александр Константинович как будто бы приехал тогда в Москву. С ним велись беседы о вещах мне не только далеких, но и непонятных, и на мои вопросы «кто», «что», «о чем» Оля огрызалась: «Отстань, не лезь, ты ничего не понимаешь!»

Не буду лгать и скажу, что Катя взяла меня до известной степени под крыло. <...> Катя была необыкновенно привлекательным человеком и притягивала к себе самых разнообразных людей. В ней кипела и переливалась через край жизнь, она была полна федоровскими идеями воскрешения и бессмертия, она отзывалась на чужое горе... и... ей был двадцать один год. В ней соединялось и соседствовало много разных качеств, но тогда я видела в ней только прелесть и устремленность. Она вдруг слетала к тебе с небес, как Ника Пэония, которую она любила больше Самофракийской, и мир вокруг озарялся. С той поры я привязалась к ней без памяти и таскалась за ней хвостом многие годы. Да, «у каждого из нас был свой Стирфорс»¹³.

<...> Было 13 августа. Оля была в Москве, девочки мои тоже куда-то уехали. Мы с Катей были одни. Я что-то читала, она возлежала и вдруг, быстро поднявшись, сказала: «Надо съездить в Новодевичий».

Я уже воспринимала Катину «надо» как нечто обязательное и быстро собралась. Долги ли летние сборы? И вот мы уже несемся на станцию. Электричка стоит. Всканиваем, гудок, и мы едем. День был прекрасный. Было уже, верно, часов пять. Вот и Москва, вбежали в метро, доехали до Дворца Советов — так тогда называлась станция Кропоткинская.

«А на чем дальше?» — «Пойдем пешком», — решила Катя, и мы если и не побежали, то понеслись. «Бегу Пречистенкою, мимо...»¹⁴

Катя рассказывает мне о Пречистенке, показывает разные дома. Вот Дом Ученых. Тут хорошие концерты бывают. А дом когда-то принадлежал какой-то Катиной родственнице. А вот улица Островского, бывший Мертвый переулок.

— Помнишь, у Пуны в «Эпафродите»¹⁵: «И скоро Мертвый переулок отпразднует научный брак...»?

Я не только не помню, но и не читала.

— Как, ты не читала? А ты знаешь, что Пуна — великий поэт?

— Нет, не знаю.

— Так знай! Даже не великий, а величайший.

Мне, конечно, приятно слышать такой высокий отзыв, но я в сомнении. Ведь величайший — Пушкин, ну Лермонтов. Катя на секунду замаялась и, тряхнув головой, с решимостью: Пуна никак не ниже Пушкина, а может быть, и выше. Я в смущении.

А вот дом Дениса Давыдова, а вот Музей новой западной живописи. «Помнишь, мы были с тобой, когда ты приезжала на каникулы?» Помню, конечно же помню, на всю жизнь помню. А вот Поливановская гимназия. «Как, ты не знаешь, что это за гимназия?» И следует эмоциональное объяснение.

Дальше, дальше. «Бывало, за Девичьим полем мелькает клиник белый рой...»¹⁶ Мелькают клиники. Памятник Пирогову. «И воз-

никает в неба ширь Новодевичий монастырь». Он великолепен. Собор, стройная колокольня, легкая надвратная церковь. «Подожди, нарвем ромашек», — говорит Катя, и мы рвем ромашки, лепящиеся под седой монастырской стеной. Ну, пошли. В воротах открыта калитка, и «из мира, суетной тюрьмы, в ограду молча входим мы...» Кругом никого и тишина. Свежими глазами впервые смотрю на стены с узорными башнями, на собор, на все...

Мы подходим к невысокой чугунной оградке, за которой четыре могилы. Катя берет у меня цветы, перегибается через ограду и кладет цветы на могилу. Я читаю: «Владимир Сергеевич Соловьев» золотыми буквами. И даты. Рядом С. М. Соловьев — историк — большой светлый камень и брат Михаил и его жена О. М. Соловьева. Мы стоим тихо и смотрим. Хоть я еще толком ничего про Соловьевых и не знаю и Владимира Сергеевича еще не читала, но имя его уже на слуху. О нем постоянно поминают девочки, и я знаю, что это великий русский философ.

Сумерки спустились, вечерело. Я, наверное, впервые тогда, вопреки себе, так сказать, ощутила связь с прошлым, с Соловьевым, о котором только недавно услышала, с русской культурой. «Связь времен», словом. «Ты знаешь, — сказала Катя, — сегодня сорок лет, как он умер». Так я впервые, таким ребяческим образом приобщилась к миру, в котором прожила всю жизнь. 13 августа 1940 года. <...>

* * *

В ту осень Оля и Катя менее, чем любым другим делом, занимались учением. Летом они посетили в Калуге Александра Константиновича и были полны этим свиданием. Шла интенсивная переписка, Александр Константинович писал им целые философские трактаты, они отвечали¹⁷. Они «штудировали» его работы, главным образом «Огромный очерк»¹⁸, очевидно, по-настоящему так и не заверченный им. Работа эта, как я себе представляю, посвящена проблемам творчества и трансформации «созидательной силы Эроса» в силу творческого созидания. Он пишет о возможности раскрытия всех сил и энергий, имеющихся в человеке, о религиозном смысле любви.

В числе «рекомендаций» Александра Константиновича было и то, чтобы в эту осень они очень активно обратили свое внимание на «обновленческую» церковь. Не знаю, но могу предположить, что Горский был знаком или познакомился с главой «обновленцев» Александром Введенским¹⁹, человеком умным и интересным. В наши дни «обновленчество» и все, связанное с ним, воспринимается однозначно отрицательно, как лже-религиозное течение, связанное и инспирированное ГПУ или НКВД.

Не вдаваясь в суть течения, которое меня никогда не интересовало и вникать в которое ни малейшего желания у меня не было, все же позволю себе сказать, что тогда, в тридцатые и, наверное, в двадцатые годы, обновленчество вовсе не вызывало такой яростной неприязни у тогдашних верующих, особенно интеллигентных, как это кажется теперь.

Сейчас начисто забыто и отрицается далеко не восхищенное отношение интеллигенции к официальной православной церкви в годы перед революцией и первое время после. И [разве] не было многочисленных богоискательских поисков, вроде «нового религиозного сознания» Мережковского и прочих? Мне кажется, что так начиналось и обновленчество. Конечно, его сотрудничество с советской властью наложило на него несмыслимое пятно в глазах традиционно православной интеллигенции. Но, что бы сейчас ни говорили, я утверждаю, что во времена моего детства и ранней юности вполне существовали люди верующие, считавшие себя «обновленцами» и посещавшие красивую церковь XVII века на Селезневке.

Александр же Константинович, никогда не пренебрегавший малейшей возможностью проповеди и внедрения идей Федорова в головы людей, не прошел мимо А. И. Введенского.

В свое время я не расспросила об этом ни Олю, ни Катю по причине малого интереса, а теперь вот пишу свои взрослые умозаключения на основе писем, записок и собственной памяти.

Так вот, Оля и Катя стали постоянными посетительницами церкви на Селезневке. Меня в курс дела не вводили, зачем метать бисер перед свиньями, но раза два в церковь взяли, соблазнив одной или несколькими иконами письма В. Васнецова. Помню одну — Богоматерь, но не умиление, а без младенца. Покров? Или еще какую, не помню. Васнецова я любила и чтילה, иконой восхитилась, ощущение восхищения помню до сих пор. Помню красивого, статного митрополита. Ему тогда было около шестидесяти. С бородой с проседью и жгучими черными глазами. Девушки подходили и долго беседовали. Не помню, но, возможно, они и дома у него бывали. Совершенно не знаю, как он реагировал на учение Федорова, но к Оле с Катей, по их рассказам, отнесся благосклонно. <...>

Второго января [1941] был экзамен по латыни. Я готовилась уже на свой страх и риск и просидела всю новогоднюю ночь, занимаясь «божественным глаголом». Оля и Катя, как выяснилось утром, встречали Новый год на Ваганьковом кладбище, распив там в сугробах бутылку вина, очевидно, за то, чтобы поскорее начать воскрешать всех лежащих под надгробными плитами и памятниками*.

* После смерти Оли я с удивлением прочла, что так же они встретили и 1940, и 1939 годы.

* * *

Пришла весна. Из Калуги приехал А. К. Горский, всю зиму бомбардировавший Олю и Катю длиннейшими философическими и мне непонятными письмами, которые сам называл своими «апостольскими посланиями». Письма сохранились, они и в самом деле замечательно интересны и самобытны. Теперь я понимаю это.

Горский приехал в Москву в конце марта. Девицы взыграли. Обе они находились в растерзанных и мрачных чувствах и ощущениях. Катю не удавшееся и больно ударившее увлечение Андреем Введенским^{19а}, Олина вполне надуманная и, естественно, безответная любовь к пятикурснику-археологу Юре Бауэру и академические сложности, связанные с курсовой работой, да и просто материальные сложности, вечное отсутствие денег, постоянное недоедание, на которое Оля всегда реагировала болезненно...

Словом, девицы были в недолжном виде, в явном упадке и им требовалась встряска.

И вот приехал Александр Константинович. Будто в их житейском неуют распахнули окно в широкий мир и ворвавшийся свежий воздух овеял их.

Александр Константинович действовал на их души удивительным образом.

В то время им была написана большая вещь под названием «Преодоление Фауста»²⁰. Речь там шла все о том же: необходимости направления всех человеческих сил на достижение бессмертия и подхода к проблемам воскрешения. Я «Преодоления Фауста» с тех пор не перечитывала, да и тогда-то не очень-то поняла, так что детализировать не буду, да здесь это и не нужно. Скажу еще только, что как козырная карта там обыгрывалась знаменитая в ту пору фраза Сталина по поводу горьковской сказки «Девушка и смерть». Вождь, прочтя ее, сказал: «Эта штука посильнее, чем «Фауст» Гете. Любовь побеждает смерть». Вот это-то изречение и вдохновляло Александра Константиновича, и он счел, что «наверху» могут отнестись к идее борьбы со смертью положительно. Он был очень прямым человеком, глубоко убежденным в своих воззрениях, вернее бы сказать, в вере и, конечно же, не от мира сего. Как истинного пророка и праведника, восьмилетнее пребывание на Соловках и Медвежьей горе, где он чудом остался жив, утратив зубы и приобретя разные болезни, не изменило его. И как он был до своего ареста в 1929 году, таким и остался.

В ту весну он пытался напечатать «Преодоление Фауста» в каком-нибудь журнале и для начала <...> отправил работу на рецензию в ИМЛИ. Сохранился <...> официальный ответ из ИМЛИ <...>, сообщающий с необходимой академической вежливостью о невозможности в настоящее время напечатать столь интересную работу²¹. Но какой иной ответ мог быть из официального, академи-

ческого и «идеологического» института? Не знаю, был ли огорчен Александр Константинович, или его уверенность в правильности его пути не позволила ему ощутить некое поражение, но что думаю я сама по этому поводу, так это то, что, послав свою работу в ИМЛИ и имея в виду выйти с ней в печать, Александр Константинович привлек к себе внимание НКВД. (Несомненно, институтское начальство должно было показать «Преодоление Фауста» в «первый отдел».) А вновь возникшее на поверхности имя Горского вполне вероятно послужило первым сигналом к его трагическому концу. Может быть, если бы, вернувшись из лагерей летом 1937 года, Александр Константинович не подавал бы признаков жизни, о нем бы не вспомнили. А так...

Я не могу, конечно, с уверенностью утверждать это, но, возможно, могло быть и так.

Вся жизнь Александра Константиновича была посвящена «общему делу». Бессмертия должна добиваться наука, но и сами люди в повседневной жизни должны были постепенно готовить себя и окружающий мир к этой великой цели. Одним из наиболее часто употребляемых им слов было слово «облачность», очевидно, понятие это было аналогично современному «биополю»²².

Мне кажется, что не было в его жизни минуты, когда бы он забыл о своих задачах.

* * *

Так как стипендии у нас во втором семестре не было, а Катя просто была в академическом отпуске, то они с Олей пытались изыскивать какие-нибудь заработки. Это было трудно, или просто некому было помочь, но хватались за любую мелочь.

То мы (и я в том числе) работали на химфаке «подопытными кроликами», то разносили какие-то повестки, то что-то еще. Заработок это давало рублей тридцать в месяц. Мизернее не придумаешь. И вот Зина Соболева сказала, что их медицинский институт производит какие-то обследования населения. Люди должны были заполнять карточки, а уполномоченные, т. е. такие как мы, сначала разносили эти карточки по людям, а потом относили в институт.

Платили подушно, или, вернее сказать, «покарточно». Мы соблазнились. Заключение договор или просто договориться об этой работе надо было где-то в Кожевниках.

И вот в один из первых дней после сдачи античной истории, пока я еще не успела погрузиться по уши в этнографию, Катя, Владек²³ и я отправились в эти неведомые мне тогда Кожевники. День был замечательный — солнечный нежаркий день середины июня. Сирень, кажется, цвела запоздало. Май был холодный.

Мы с утра вышли из университета и пошли по Моховой, мимо любимого Пашкова дома, нашей Ленинки, прошли Каменный мост, прошли Кадашевским переулком, где мне была показана церковь в Кадашах, розовая, с устремленной ввысь колокольней... И я увидела ее, виденную неоднократно. Глаза уже раскрылись. На углу Ордынки и Климентовского нас поджидала круглая желтая Казаковская (Бове?) «Всехскорбященская» церковь с шариком на куполе. А Владек уже волновался, предвкушая показать мне свой любимый Климентовский собор, стоящий по Климентовскому переулку, а фасадом на Пятницкую. И вот он. Высокий красно-белый красавец. Катя и Владек спешат представить мне своего любимца: «Настоящее московское барокко!» И указывают отдельно на все детали.

Он массивен и легок одновременно. Удивительная соразмерность форм. «Посмотри, посмотри на наличники! А колонки!..» Да вижу, все вижу и восхищаюсь. И всегда, проходя мимо этого прекрасного храма и любясь им, обшарпан ли он, свеже ли выкрашен, вспоминая тот давний летний день, мой первый восторг и восторг моих тогдашних «гидов», радующихся моему восхищению. Ах, они умели показать то, что любили сами! Показать, восхитить и «подарить» на всю жизнь. Оба умели. И Владек, и Катя. По-разному, но оба.

А от Климента мы маленьким проулочком вышли на длинную, мощенную булыжником (впрочем, Пятницкая тоже была еще булыжной) Татарскую улицу и пошли по ней вперед и вперед, куда, как мне казалось, глаза глядят, но на самом деле вышли к Павелецкому вокзалу. Влево от него шла широкая, ничем не примечательная Большая Кожевническая улица, в одном из переулков которой и было искомое нами учреждение. Мы с Владеком остались сидеть на заборчике, Катя же вошла и вскоре вернулась с пачкой карточек и адресами, по которым следовало пойти. Но трудовые наши порывы на этом исчерпались, Катя положила карточки в сумку и произнесла задумчиво: «А не сходить ли нам в Новоспасский монастырь? Вот же он, рукой подать!» Мы с Владеком согласились с восторгом. Хотя «рукой-то подать» было порядочно: дойти до Новоспасского моста, перейти реку, ну и на том берегу еще пройти. Но разве это расстояние для молодых ног?! И день-то какой! Солнце, синее небо, облака рваные, зелень молодая. И ветер, теплый и не злобный раздувает волосы, раздувает юбки. И пусть сколько угодно еще впереди таких дней, но зачем откладывать? Там этнография. И Катя рассказывает воодушевленно о Федорове, о воскрешении, о прекрасном мире. «И Пушкина воскресим?» — «Ну конечно, и Пушкина, и всех, и Толстого, и Леонардо...» Боже, как хорошо, и мир как хорош!

И вот мы в Новоспасском. Это, конечно, не показательный Новодевичий, чистый, прибранный... Мы входим в арку ворот. Огромный, обшарпанный, с проржавевшими куполами, приземистый, могучий пятиглавый собор. Огромные, кое-где разрушенные изнутри стены с остатками галерей, угловая, тоже приземистая башня. И колокольня, классическая и высокая, но массивная и вся будто «утыкана» колонками. Остатки кладбища... Мы сели на камень, зеленый и вросший в землю. Надпись совсем стерлась. «У забытых могил пробивалась трава, мы забыли слова и забыли вчера, и настала кругом тишина...»²⁴ Это все было про нас.

Двор зарос травой, на солнце сушилось белье, изредка кто-то проходил мимо. В сохранившихся корпусах жили люди.

Вдруг мы увидели в одной из стен хлебную лавочку. Страшно захотелось есть, мы вскочили и побежали к ней. Набрал не без труда около двух рублей, мы купили килограмм хлеба за рубль семьдесят и с наслаждением принялись его есть тут же. Отламывая куски и жадно жуя, мы еще и еще раз обходили большой монастырский двор. Монастырь стоял на высоком берегу Москвы-реки, и глядя на нее, так легко было представить себе и осаду стен, и вражеские суда на реке. И прошлое переходило в настоящее и устремлялось в будущее, сверкавшее где-то в не таком уж и далеком далеке. «И всех воскресим?» — «Да, да, всех, всех!!!»

<...> Это был замечательный день, каких не так уж много выпадает в жизни. День, когда мир безбрежен и прекрасен, и связь твоя с этим прекрасным миром явственна и нерушима, и ты вдруг с небывалой остротой чувствуешь и ощущаешь свою связь со своим родным и прекрасным городом и познаешь его какие-то новые для себя и незамеченные ранее красоты и прелесть. И ты с друзьями, в вечности.

Вечность и связь времен, как они необходимы! И наверное, в веселой, суматошной юности, так до краев заполненной самыми разнообразными делами, мыслями и чувствами, такие нечастые дни, а то и часы душевной тишины и ощущения мира и себя в нем особенно важны и ценны.

Я не помню числа, во всяком случае, между 18 и 21 июня 1941 года.

А потом было несколько дней безудержной долбежки этнографии во всех возможных библиотеках и дома.

А потом пришло воскресенье. Теплое солнечное утро 22 июня 1941 года, переключившее всю нашу жизнь совсем по-другому. <...>

* * *

Первый месяц на истфаке прошел как-то сумбурно. Все больше чувствовалось приближение фронта. Немцы рвались к Москве.

Занятия в университете поэтому постоянно прерывались. Нас часто посылали на оборонные работы: рыть противотанковые рвы, копать окопы. Это была тяжелая работа. С непривычки мне было очень трудно по сравнению с работой в совхозе. Посылали нас дня на два и недалеко от Москвы. Ребятам же отправляли на большие сроки и дальше. Мне помнится, что Владек ездил на рытье противотанкового рва под Малый Ярославец. Занятия часто прерывались воздушными тревогами. Да и вообще в это время было как-то не до учебы.

С октября же учеба прекратилась вовсе. Немцы подошли к Москве совсем близко.

На фоне всего этого протекала интенсивная духовная жизнь Оли и Кати, в которую так или иначе я была вовлечена по возвращении с трудфронта. Вся эта деятельность, конечно, велась в русле федоровского «Общего дела» и заключалась, главным образом, в вовлечении в круг федоровских идей возможно большего числа достойных людей.

А надо сказать, что еще зимой и всю весну Оля с Катей все решали, и никак не могли решить, к кому обратиться с федоровской проповедью о воскрешении: сначала к Пастернаку или к Марине Цветаевой? Оба были достаточно хороши для этого. Что обратиться необходимо к обоим, сомнений не было, но было неясно, к кому раньше. Все собирались, собирались и, наконец, решили к Марине.

Написали очередное письмо, приложили кое-что из работ А. К. Горского и отправились. Адрес решили узнать у Пастернака. Пошли к нему и узнали. Но, когда они явились, наконец, к Марине домой, оказалось, что накануне она уехала в Елабугу. Тогда решили отдать все написанное Борису Леонидовичу.

Пришли к нему. Там в тот момент были Всеволод Иванов и Федин. Им всем было с воодушевлением рассказано о Федорове и его философии и предложено, очевидно, принять участие в общем деле воскрешения умерших. Уж как на все это реагировал Федин, я не знаю, но с Всеволодом Вячеславовичем и Борисом Леонидовичем знакомство завязалось. <...>

* * *

Время было тяжелое. Шли бои за Сталинград, Ленинград был в блокаде, оттуда доходили страшные слухи и становилось ясно, что вся наша скудная жизнь и холод, и постоянное неутоленное желание поесть на самом деле вовсе не холод и не голод.

Оля <...> преподавала в сельской школе, недалеко от Пушкино, в селе Листвянах. Я через пень-колоду ходила в университет.

Весной 1942 года, когда немцев отогнали от Москвы, возобновились занятия в университете. В пожарной команде появилась

Катя, а через некоторое время моя однокурсница Ирина Тучинская²⁵. Как-то однажды вечером, сидя на диване около круглой угловой печки, они разговорились друг с другом. Оказалось, что у них много общего в главном. Они проговорили, не давая своими громкими восклицаниями и счастливым смехом спать другим «пожарникам», не разделявшим их радости, всю ночь. Утром, вскочив, умчались куда-то. (В церковь, наверное?)

С этой ночи в течение нескольких лет они не расставались. На истфаке они почти не показывались, жили своей наполненной до краев интенсивно-духовной жизнью. Внешне все выглядело нелепо: экзаменов не сдавали, ничем осязаемым, казалось, не занимались, все время где-то и куда-то носились с вдохновенными лицами. Впрочем, по-настоящему все это (как позже и наша жизнь в Скрябинском музее) вполне определялось соловьевским: «Я факты рассказал, виденье скрив»²⁶.

После сессии я уехала с университетом на трудфронт. На лесоповал. Вернулись мы только к октябрьским праздникам. Первое, что я узнала от Наташи Соболевой, нашей общей подруги, придя на истфак, — это что Катя и Ирина (а мы с Наташей относились к их внезапно вспыхнувшей дружбе с ревнивым неодобрением) ушли из университета и живут вдвоем в пустующей комнате в Неопалимовском переулке. Комната принадлежала уехавшим в эвакуацию каким-то друзьям друзей.

На мой раздраженный вопрос, что же они теперь делают, последовал иронический ответ, что они занимаются разрешением проблемы бессмертия путем преображения любви к Софроницкому²⁷ и Пастернаку. «Как, и к Пастернаку?» — изумилась я. (О влюбленности Кати в Софроницкого я знала еще летом.) «Да, и к Пастернаку». Оказалось, что Ирина («вообрази, этот Катин подгудок», — как неизящно выразилась Наташа) влюбилась заочно (попробуй незаочно, если он в Чистополе) в Пастернака, написала ему длинное теоретическое письмо и вот теперь спасает его от смерти своей любовью. «И что же, послала письмо?» — «Не знаю, право». Как это ни удивительно, но черновики письма этого сохранились, и теперь, через 40 лет, перечтя его, мне кажется, что я понимаю, почему при всей фантазмагоричности написанного там Борис Леонидович не послал Ирину куда подале, а с открытой душой принял.

Прося извинения за то, что позволяет себе писать ему, незнакомому человеку и знаменитому писателю, она рассказывала о том, что последнее время со всех сторон от разных людей и разным образом она что-то слышала о нем, как будто все задалось одной целью: донести его до нее. И как постепенно он вошел в ее жизнь и стал близок и стал всегда с ней; и она поняла, что полюбила его. Полюбила человека, а не поэта, так как сначала она даже и стихов его совсем не знала и только теперь постепенно он стал открывать-

ся ей и в своих стихах. Дальше шло очень «федоровско-катино» рассуждение о невыносимости для нее самой мысли о возможности смерти любимого человека и об осознанной преобразующей любви как пути к бессмертию. И теперь, спустя 40 лет, когда Ирина так однозначно отрицательно относится к Федорову, кажется неправдоподобным читать то, что она писала в свои 22 года. Но что было, то было. Вот это-то письмо, написанное с молодой и серьезной убежденностью, искренностью и верой, весь этот соловьевско-федоровский мир, мир ушедшей молодости Бориса Леонидовича и такой неожиданный в то тяжелое военное время, такой нереально-ненужный, как, возможно, считал он, — вот все это вместе, я думаю, не могло не тронуть его.

Осенью, а может быть, еще летом 1942 года, Катя с Ириной (возможно, по просьбе Б. Л.?) были у него в Лаврушинском, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится квартира. Там стояли зенитчики. Квартира оказалась в полном разорении. Бумаги и книги валялись на полу, вещи раскиданы, стекло в окнах не было. Предприняли ли они что-то реальное — я не знаю (вероятно, написали в Чистополь), знаю только, что Ирина подобрала с полу несколько фотографий Б. Л. и пачку писем. Письма оказались его письмами к Зинаиде Николаевне²⁸ 1931—1935 годов. Письма, хоть и не без смущенья и стыда, всеми нами были прочитаны, и перечувствованы, и пережиты и находились у нас до тех пор, пока Оля не собралась с духом и не вернула их Зинаиде Николаевне. А фотографии до сих пор живут у нас уже с разрешения Б. Л.

В эту же зиму 1942/43 годов Б. Л. раза два приезжал из Чистополя в Москву и был (или бывал) у девиц в Неопалимовском. Он перевел «Ромео и Джульетту» и прислал им розовое ВТО'вское издание его перевода через молодого режиссера Плучека. Он был увлечен в ту зиму театром и очень хвалил пьесу своего знакомого, молодого писателя Александра Гладкова «Давным-давно». Не остались равнодушны к театральному искусству и Катя с Ириной. Ирина написала «VI акт» «Ромео и Джульетты», где герои воскресают и помогают девицам в обретении бессмертной любви. «VI акт» завершался эпилогом под названием «После чтения Данта» с участием Оли, Ирины и Кати. Тоже с воскресительным оттенком. Должны были послать все это Б. Л. с сопроводительным Катиным письмом; не знаю, было ли это послано или так и осталось, только в черновиках. <...>

Жить нам, по сути, было негде, и с разрешения Танечки Шаборкиной, Татьяны Григорьевны, директора Музея Скрыбина, мы стали жить в пустом, бесконечно ремонтирующемся Музее. Катю удалось провести в штат Музея «пожарником». Мы с Ириной назывались «актив», или просто «музейные девочки». Прожили мы так с лета 1943 по конец 1945 года.

В нашей «музейной» жизни незримо или даже зримо Борис Леонидович присутствовал всегда. Ирина бывала у него очень часто, почти каждый день. Мы с Катей реже. Мы ходили на все его выступления с чтением стихов и переводов. Он давал нам все свои новые стихи. Из его рук мы получили все военные стихи и статьи о Верлене, Шопене и Бараташвили, а позже стихи из романа и сам роман.

Редкий день проходил без разговоров по телефону. Главным образом, конечно, звонили мы. Только позже я поняла, как беспредельно терпелив, сердечен и внимателен он был. Всегда серьезно и сочувственно выслушивал наши высокие или жанровые, но всегда фантастические идеи и мысли, ни разу не позволив себе ни тени снисходительности или иронии. <...>

В начале февраля 1947 года Борис Леонидович позвонил в библиотеку и пригласил нас к М. В. Юдиной²⁹ слушать чтение начала романа. Катя не могла или не захотела пойти, поэтому отправились втроем: ее младшая сестра Маша, наша приятельница Ирина Гулидова и я.

Нам был дан адрес: где-то на Беговой улице. Ехали мы впритык и то ли в метро, то ли уже на улице потеряли Ирину. Мы с Машей метались, искали, кричали, но она как в воду канула. Мы решили ехать вдвоем. Жила Мария Вениаминовна в двухэтажном коттедже на Беговой, от которого теперь и следа не осталось. Замирая от волнения (столько незнакомых, да и хозяйка дома — знаменитая пианистка, а ну как скажет: «А кто вы такие? А вы куда?»), мы постучали (или позвонили). Дверь открыла сама Мария Вениаминовна в черном бархатном концертном платье с пышными черными с проседью волосами по плечам. «Здравствуйте», — сказали мы с Машей неуверенно. Нам ответили доброжелательно и радушно: «Проходите, проходите, девочки. Раздевайтесь. У нас тепло». Тепло — тогда это было очень важно. Замерзшие с мороза, с метели, которая мела, мела по всей земле в тот вечер, мы сняли пальто и вошли в теплую комнату с розовыми стенами. Там было уже много народу. К счастью, мы оказались не последними. Ждали еще гостей. К сожалению, за эти годы я забыла, кто именно был у Юдиной в этот вечер. Помню отчетливо Зинаиду Николаевну и Н. П. Анциферова. Кажется, был Александр Леонидович и, может быть, Алпатов?³⁰ Скоро все собрались.

Б. Л. сел за столик и начал читать: «Шли и шли и пели вечную память...», и с этих слов и до той минуты, когда он остановился на последнем слове, я уже ничего не замечала. Все читаемое было произительно просто именно той простотой, которая «всего нужнее людям». Все было знакомо и важно, все было мое до самой глубины. И маленький Юра на могиле матери, и Миша Гордон, едущий в поезде и ощущающий сиюминутность возникновения

пейзажа только благодаря остановке поезда, и рассуждения Николая Николаевича о Риме. С той самой минуты я почувствовала, что это самая высокая литература, поняла, что это гениально.

Б. Л. кончил читать. Прочитал он, по-моему, до «Елки у Свентицких». Все сразу заговорили, зашумели, послышались похвалы. Стали задавать вопросы. Кто-то спросил, что будет дальше? Он ответил, что Юра женится на Тоне, станет врачом, начнется война, революция... Он познакомится с Ларой и будет много печального. На вопрос Н. П. Анциферова, есть ли прототип у Веденяпина и не Флоренский ли? И чьи это идеи? — ответил, что не Флоренский безусловно, а скорее Бердяев, что же касается идей, то это идеи его самого. «Это мои идеи»³¹. Кто-то спросил, можно ли назвать эту вещь собственно традиционным романом. Б. Л. сказал, что в общем можно, но скорее это не роман, а эпопея. «Эпопе-е-я», — растягивая «е», повторил он. Спросили, какую роль будут играть в романе стихи, и он ответил, что так как это стихи Юры Живаго, то скорее всего они будут просто отдельной тетрадкой. Спрашивали и о названии. Окончательного названия еще не было, но — пока существовало условное заглавие «Мальчики и девочки». «Это про нас», — мелькнуло у меня в голове. И этот тройственный союз, который начитался «Смысла любви» и «Крейцеровой сонаты» и помешан на проповеди целомудрия и проч. Хоть мы и не помешались на «Крейцеровой сонате» — все равно про нас. <...>

